

А Л Е К С А Н Д Р В У Л И Н

М Р А К



Александр Вулин

Мрак

«Алетейя»

2017

УДК 821.163.41
ББК 84(4Юго.Сер)6-44

Вулин А.

Мрак / А. Вулин — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906860-87-3

Повесть «Мрак» известного сербского политика Александра Вулина является образцом остросоциального произведения, в котором через призму простых человеческих судеб рассматривается история современных Балкан: распад Югославии, экономический и политический крах системы, военный конфликт в Косово. Повествование представляет собой серию монологов, которые сюжетно и тематически составляют целостное полотно, описывающее жизнь в Сербии в эпоху перемен. Динамичный, часто меняющийся, иногда резкий, иногда сентиментальный, но очень правдивый разговор – главное достоинство повести, которая предназначена для тех, кого интересует история современной Сербии, а также для широкого круга читателей.

УДК 821.163.41

ББК 84(4Юго.Сер)6-44

ISBN 978-5-906860-87-3

© Вулин А., 2017

© Алетейя, 2017

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие. Мрак книги «Мрак» | 6 |
| Мрак | 9 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 19 |



Александр Вулин

Мрак

© А. Вулин, 2017

© И. Антанасиевич, перевод текста, 2017

© Е. Пехова, перевод интервью, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

Предисловие. Мрак книги «Мрак»

Тот далекий 2004 год был весьма плодотворным для молодого издательского дома ИГАМ из Белграда. На Международной белградской книжной ярмарке наибольший интерес вызывали произведения трех писателей – Браны Црнчевича, Радована Караджича и Александра Вулина. И все три книги вышли в нашем издательстве.

Мы не побоялись издать эти три очень разных произведения. Три великолепных качественных текста. Хотя мало кто из издателей решился бы на это. Прежде всего из-за того, что речь идёт о писателях, которые не просто имеют активную политическую позицию, но и занимаются политикой профессионально.

И так – в том далеком 2004 году мы открыли Сербию нового писателя Александра Вулина. Александр Вулин опубликовал в издательском доме ИГАМ свой роман Мрак.

Это текст с своеобразной повествовательной мелодикой: нарративный блюз в функции лейтмотивизации микроплана, который помогает читателю достичь эмоциональной реакции, то есть, того, что едва ли не Томас Манн считал одним из условий хорошего произведения. Александр Вулин – единственный в современной сербской литературе писатель, который умеет это делать.

Кроме того, это еще и весьма емкий текст. Это атомная бомба небольшого объема, это сгусток чудовищной энергии, переплетение судеб, где нет главного. Это такие шахматы без королевы. Но этот шахматный этюд такой силы и мощи, что у читателей захватывает дух.

В русской литературе есть подобное по форме и силе воздействия произведение – это *Один день Ивана Денисовича* Солженицына, где мир дан через суженное, но очень сфокусированное восприятие мира одного человека.

Мрак начинается и заканчивается одним и тем же предложением. Предложением из всего одного слова: «Мрак». Но эта кольцевая форма полностью заполнена всевозможными оттенками мрака: темнотой подземного коридора, сумерками души, политическим сгустившимся мраком «пятиоктябрьской» революции и так далее.

Это – мрак.

Полный...

Кромешный.

Безнадежный.

Александр Вулин жесток: он переносит нас в мир, где человек лишён абсолютно всего – прежнего себя, дома, веры, имущества, надежды.

Настоящее темно, прошлое печально, а будущего – не будет.

Нет ни Бога, ни дьявола.

Некому молиться, некому продать душу.

Души, кстати говоря, тоже нет.

Есть – здесь и сейчас.

Коридоры гибнущей шахты.

Холод вонючей воды, писк мокрых крыс и исповедь отчаявшейся души.

Исповедь без личности.

Человек исчезает, расслаивается под прессом реальности.

Создаёт новые миры, делится на клеточном уровне, отвергая себя как единство, стремится к собственному множеству.

Я меньше, чем маковое зерно.

Виртуальное Я.

Я – как будто Я.

Другое Я.
Я не-Я.
Я – Бог.
Я – дьявол.
Я – мир.
Я?...

В мире Мрака – это единственный способ выжить.
Аз есмь! – превращается в последнюю переключку.
– Человек? – Я!

Я – шахтер, я – забойщик, водитель вагонетки, взрывник, я – несчастный отец, я – проигравший войну солдат, я – ищу свой дом, который потерял, я – уйду, чтобы вернуться.

Аз есмь! – и есть жизнь.

Дробление в пределе превращается в собирание. В осознание себя. И это знак того, что ты ещё здесь, ещё материален, ещё существуешь, ещё есть.

Ещё жив.

Низведенный до уровня твари и праха, поэтому готовый к возвышению.

К рождению души, которая поднимается из смрада предыдущего состояния.

На грани жизни и смерти важнее всего перешагнуть через границы своего Я, уничтожить себя и свой мир, стать бессмертным – нырнуть в Реку Абсолютной Реальности, которая течёт из ниоткуда в никуда. Жизнь сложно локализовать, сложно ограничить рамками определённости. Тяжело идентифицировать бесконечность, которая скрывается в скорлупе конечного.

Такая густая проза, как в романе Александра Вулина, разрушает привычную конструкцию внутри текста – она прежде всего биологическая, а не архитектурная. Мёртвый, стерильный, искусственный мир, с которым мы иногда сталкиваемся в искусно и хорошо сделанных вещах, привлекает нас искусством выделки – красивыми и чёткими линиями, бурными красками, мастерскими элементами. Густая проза кишит смыслами, резко и дерзко растёт во все стороны, в ноздри ударяет запах влажной земли, запах страха, запах вони, запах надежды. Густая проза, возможно, не самый лучший способ показать жизнь, но она для литературы – прививка жизни. И настоящий читатель, осознав это, переживает экстаз оптимизма. Даже если это и трагедия.

Особенно, если это – трагедия.

Слова складываются, соединяются и, потеряв реципиента, рассеиваются в свете солнечного месяца. Смысл теряешь после второго предложения, после четвёртого теряешь волю его искать. Мгновенно чувствуешь, что находишься в зоне, где слова не важны.

Фабула полна дыр, в которые систематически попадают персонажи. В этих дырах и развивается настоящая фабула: там живут вещи, предметы, человеческие эмоции, неважные, мелкие, смешные, чрезмерно патетичные. Но они и есть сама главная реальность, концентрат жизни. Это не галлюцинация – смысл в том, что граница между виртуальным миром и реальностью в этом тексте идеально инверсивна. Текст превращает реальность в достоверную иллюзию, и поэтому текст похож на фреску – двухмерную, бледную, живую и единственно верную, при все кажущейся схематичности...

Невозможно описать систему, когда ты находишься внутри неё. Поэтому так много «внутрисистемной» литературы, так много гладкой прозы, когда становится важнее результат, а не процесс чтения – передвижение глазного зрачка по причёсанным рядам слов, которые

описывают нечто, что может условно называться реальностью. Реальностей же (в отличие от литературы) может быть и больше – одна скрывается в другой, третья, прячется за четвертую.

Одновекторный человек возможен только в скучной прозе и в детском рисунке, когда, сложенный из прямых линий, он бежит по нарисованной дорожке к нарисованному дому.

Тайна автора – в тотальном погружении в густую жизнь, в неабстрактную материю. Поэтому автор в романе удаляется от своего героя на космическую высоту. И только тогда у него есть шанс – приблизиться к герою. Ощутить его боль. Описать ее, не осуждая. Поэтому книга – о мучительном и страшном феномене, называемом человеческая жизнь, полна оптимистичной динамики.

Даже если это жизнь полная страданий.

Александр Вулин написал книгу о простых вещах.

Смерть, кровь, зной, смрад, война, грязь – простые вещи.

Простые, как аксиомы.

Как закон. Как догма. Как заповеди – не убей, не укради, не лги, не..., не..., не..., не...

Но люди всегда забывают о простых правилах.

Это знак нашей незрелости.

Знак инфантильности, но это инфантильность современного человека, повзрослевшего не под бормотание кормилицы, а под бормотание телевизора. Инфантильность человека, застывшего в мрачном средневековье детства, навсегда оставленного один на один со всеми ужасами взросления, которое все никак не наступит. Это инфантильность поколения, живущего в состоянии космической невесомости. Рождённые в годы запуска спутника, они – великие космонавты, парят, не различая где верх, а где верх и низ. Они бесконечно одиноки в капсулах своих скафандров, с трубочками сконцентрированной эмоциональной пищи. Им не хватает любви, хотя бы иллюзорной, им не хватает мира, не того, где чисто и ясно, а того, где всё подчиняется правилам – чужие правила отвергнуть, а своих никогда и не было. Поэтому нужна трагедия. Только тогда пуповина разрывается – зубами, ногтями.

Это больно.

Это страшно.

Но только так рождается человек.

А акт рождения – это всегда акт смерти. Сепарация равна свободе, а свобода равно смерти. Поэтому – назад в утробу, к страстной страшной истине, к смерти, которая все твои множественные «я» сводит к одному – Я!

Кровь святых и грешников, людей и крыс смешивается, превратившись в одну реку, и тогда рождается Я.

Я – шахтер, я – отец, я – циничный идеалист, я – мудрый фанатик, я – неисправимый романтик и прозорливый слепец, который знает, что жизнь проста и прекрасна, что все реки текут к морю, а все дороги ведут от себя к себе.

«Мрак» – как раз история об этом.

Вам кажется, что она о смерти?!..

... Не говорите ерунды.

Пока вы, исповедуясь, шепчите Аз есмь! – смерти нет и быть не может!

Мирослав Тохоль

Мрак

Мрак. Уже второй день как мы сидим в душной темноте. Второй день с того момента, когда вода прорвала третий уровень и отсекала нас пятерых от мира, в котором мы жили не по своей воле и не по нашему желанию были теперь от него отлучены. Нас никто не спрашивал ни о чем. Все произошло само по себе, как всегда и происходило в нашей жизни – простой и грубой. Мы уже заканчивали смену, когда грохот подкрадывающейся воды вздыбил тонны земли и завалил нас – глухих от тяжелых отбойных молотков и слепых от в пыль перетертого камня, нас – чрезмерно уставших от страха, что не успеем выполнить норму, нас – настолько слабых, что нам не хватило сил услышать тихий звук начинающей трескаться земли, глухой хруст, свидетельствующий о том, что вода, медленно и тайно собирающаяся в каких-то пустотах, наконец-то подобралась к нам и нашим жизням и, густая, грязная и темная, решила утащить нас с собой во тьму. Вода и земля никогда не лгут – только нужно уметь слушать, это их отличает от людей, которые редко говорят то, что думают и никогда не делают того, о чем говорят. Уже второй день мы в тишине – глухой и вязкой, нам снятся звуки спасения и грохот машин, которые должны вытащить нас из этого болота, из которого мы добывали хлеб свой, машин, которые должны нас спасти от воды, уже покрывшей наши икры и затекающей в резиновые сапоги. Второй день мы под землей и целый день во мраке и больше нет слабого утешения мигающего, неуверенного, плывущего света, который давали фонарики на касках. Они гасли один за другим, а мрак, съедавший эти колеблющиеся огоньки, становился все гуще и жирнее. Вчера он сожрал последний огонек, слопал мутное пятно, которое, старательно из последних сил, выдавала моя полностью изможденная батарейка. Мой фонарик погас последним и сколько я не тряс каску в надежде на вспышку, на ту, последнюю, которая даст мне возможность посмотреть на лица моих друзей, прежде чем я забуду их и прежде чем смерть возьмет свою дань, фонарик не загорелся вновь. И когда я тряс свою бесполезную каску, то вспомнил вдруг в тяжелой душной тишине затопленной плахты о детской наглости радости: я вспомнил как нам выдали новенькие, пахнущие свежей краской каски и фирменные комбинезоны, которые мы доставали, с треском разрывая шуршащие пакеты. Их мы получили после того как государство продало нашу шахту как впрочем и все остальные шахты. Каски эти были знаком нового времени, началом того светлого будущего, которого мы ждали и которого добивались, ударяя старыми касками о мостовую, протестуя на демонстрациях в Белграде. Еще тогда, прежде чем мы остановили машины и двинулись менять власть, создавая тот порядок, о котором нам рассказывали крутые парни в футболках с гордо поднятым кулаком протеста, мы хотели смыть с себя грязь трудового дня и требовали новые комбинезоны: именно их, прикрепив к ним значки победителей соревнований, хотели мы надеть на митинг. Но нам сказали, что столица желает нас видеть в поту, в рабочей пыли и старых касках и, увидев нас такими, она заплачет от радости понимания и единения с нами и все сделается понятным и легким. Главное – быть вместе. И держаться друг за друга. И мы держались так, как никто не мог и представить себе. Держались друг за друга и свои требования, и тогда, когда послали к нам заслуженного генерала, который должен был нас убедить словами и подкупить обещаниями, который должен был нас смягчить братскими поцелуями и успокоить мужским дружественным пожатием руки, должен был загипнотизировать нас звуком своего такого знакомого голоса, знающего наши имена и убеждающего нас в том, что он помнит, действительно помнит, наши лица, лица солдат, воевавших с ним вместе в Косово. Помнит наши лица, ныне надежно скрытые от него под гримом угольной пыли и под вуалью табачного дыма сигарет, которые раздавали нам молодые активисты с мягкими, почти женскими ладошками, с пухлыми опрятными руками, где не было ни мозолей, ни грязи под ногтями.

Генерал говорил и слова его падали в глухую тишину и обреченно тонули в нагнем скепсисе. Мы слушали его только для того, чтобы сказать: генерал, поздно рассказывать сказки, нам нужны перемены, мы решились и будем стоять до конца. Мы были уверены в себе, а тепло будущей победы согревало нас.

– Нам нужны перемены! – повторили мы полиции, которая окружила шахту, пытаясь нам помешать в нашем походе к Белграду. – Нам нужны перемены! – говорили мы, оттаскивая в сторону их джипы и освобождая дорогу от их автобусов. Мы повторяли и повторяли эти слова, и они, уставшие от митингов и борьбы, уставшие от себя и от нас, слушали эти слова, слушали – и верили им. И сдались. Сдались сразу, только вздыхали громко и тихо матерились в недоумении и говорили что-то в свои никчемные рации, когда еще был смысл кому-то что-то рапортовать, а потом махнули рукой и ушли, перестав защищать то, что и прежде едва защищали, ушли – в недоумении, в сомнении, неуверенные в себе и в том, что они охраняли. А мы хлынули в их неровные размытые ряды, разочарованные, что они уходят так быстро и без борьбы, поскольку хотели доказать себе и им, что мы правы, поскольку знали, что нет более правдивой правды, чем та, которая доказывается в драке и подтверждается жертвой, павшей, как и положено: сжимая древко знамени и именно в момент, когда бросает клич, ведя народ на баррикады. А поскольку не было баррикад, не было флагов и подвигов, то осталось только верить тем, кто руководил нами, доверяться тем, кто научил нас принимать при фотовспышках позы, свидетельствующие о непримиримости и классовой солидарности, полагаться на тех, кто внимательно следил, чтобы камеры в правильном ракурсе снимали их революционные лица на фоне наших упрямых глаз, густо подведенных угольным гримом, повествующем о справедливости наших требований. Мы научились делать каменные решительные лица и научились не косить в сторону камер, делая вид, что их не замечаем. Мы, подбадриваемые голосами наших предводителей, стали телегеничными, чтобы эта речь не значила, и бодро шагали, сбивая наши ряды и вздымая каски, когда чувствовали на себе пристальный взгляд объективов.

Впрочем, руководителей наших, наших предводителей в футболках, украшенных протестным кулаком и в модных, на одну пуговицу застёгнутых пиджаках, камеры любили больше и снимали чаще, хотя именно мы были причиной того, что полиция потеряла уверенность в правоте действий своих и обессилела. Та стойкая наша полиция, которая годами шагала в ночных патрулях по замерзшим улицам и крепко держалась на баррикадах Косово-поля или какого-либо другого поля, где нужно было стоять и выстоять или погибнуть. Нас не раздражало, что фотографировали наших предводителей и их лица, по которым стекал пот напряжения от непрерывного вещания в микрофон: их неутомимые губы производили нужные звуки, а руки указывали в нужном направлении, и хоть мы не знали точно, что нужно нам, но верили и этой веры нам было довольно – мы идем на Белград! Они нас не раздражали, эти чуждые нам вожди, мы знали, что кто-то должен нам помочь оказаться там, и мы даже гордились, что следуем за ними и что мы – те, которых они ведут за собой. Рабочие, шахтеры – мы пошли менять Сербию, мы двинулись, чтобы сделать ее здоровой, чтобы ее спасти, и крики поддержки, сопровождающие нас в нашем походе, делали нас такими сильными, такими величественными, что казалось ожили пожелтевшие фотографии довоенных рабочих демонстраций, которые украшали стены канцелярии Социалистического союза рабочих Югославии и Сербии. Казалось, что ожили слова, которые произносились на тех давних коммунистических слетах, где нас, рудокопов и металлургов, называли авангардом рабочего класса или еще как-то, что звучало также сильно и красиво и не имело никакого смысла. Вспомнил я, здесь – в темнице мрака, в мешке тишины, в коридорах разрушенной шахты, ожидая смерть или спасение, наш марш тогда, в октябре и видел нас, выходящих из ворот, видел реку грязных касок на короткостриженных головах, видел во тьме третьего уровня, которая упала на нас сразу же после того как погас фонарик на каске. Я еще некоторое время надеялся, что фонарик загорится и что не

в дешевых, купленных на рынке батарейках проблема: может просто проводок отошел и его можно исправить.

И вспомнил я, вымаливающий свет у мертвого прибора, ту особую гордость, которую мы чувствовали, когда шли маршем на Белград: как будто все рассказы коммунистических секретарей на вызывающих смех политинформациях стали жизнью и оказалось, что рабочие действительно могут что-то менять в своей судьбе и в обществе. Мы, которые высмеивали их скучные лекции в столовых, где по талонам выдавали колбасу и сыр, которые мы клали в тарелку в как можно большем количестве, чтобы часть отнести домой. Мы, которые смеялись, когда удавалось пронести через проходную дешевый виньяк или домашнюю ракию, чтобы выпить там, где нужно работать. Мы, которые ржали, когда нас, лениво выпивающих обязательно навязываемые нам два литра молока в день, одинаковыми словами разные люди убеждали в том, что рабочий класс является двигателем перемен в обществе. Мы, передразнивающие слова партсекретарей, были уверены тогда, что от нас ровно ничего на самом деле не зависит.

А вот сейчас, когда стали истиной все замшелые слова политработников, мы без них, но по их заветам и их инструкциям, шли разрушать тот коммунизм, который создал нас. Хотя многие старики утверждали, что нужно-то наоборот – уничтожить капитализм, но нас наши предводители с нежными руками и румяными мочками ушей, с которых они в последний момент сняли капельки сережек, убедили нас, что жить в невыносимом и отвратительном коммунизме, а особенно в той его форме, которая существует ныне, форме, которая, скрывая свое настоящее имя, ложно представляется чем-то прогрессивным, – невозможно. Молодые наши предводители, наши все тонко чувствующие советники с мягкими ладошками, потирая темные проколы на сочных мочках ушей, говорили нам о своих командировках, о встречах с важными и значительными людьми, с гуманистами – военными и политическими, желающими разделить с нами деньги и жизни, о том, что как только падет коммунизм, то все исправится, зацветет, изменится и помолодеет, потому что при капитализме все сами себе хозяева и никто никому никогда не прислуживает. Уверенные, убежденные шагали мы, гордые и сильные и знали куда идем и против кого выступаем. Мы купались в народной любви, которая лилась на нас из распахнутых окон, с балконов, возле которых мы проходили. В любви, которая переполняла улицы и перекрестки, которая сигналила нам с автомобилей и грузовиков, из автобусов и тракторных прицепов, украшенных флагами и портретами вождя. Дети бежали за нами и махали руками вослед, мужчины поднимали сжатые кулаки в знак приветствия и кричали что-то одобряющее и неясное, а женщины утирали глаза мокрыми платочками, когда мы, приветствуя их, посылали воздушные поцелуи. Толпы тонких трепещущих девушек выросло по обе стороны обочины, красивые и гладкие как будто сошли со страниц глянцевого журнала, тех страниц, где все женщины обязательно студентки без каких-либо недостатков – высокие, доступные и восторженные...

Мы толкали друг друга локтями, когда видели их ровные загорелые оголенные животы, иногда с летящей искоркой кольца, мы облизывались, видя их чистые волосы и гладкие бедра, мы глотали слюну, когда они рвались фотографироваться с нами «на память» или, как сказала одна молодка с такими формами, что могла бы грудью пробить стену тоннеля, «для моих предков, чтобы видели, что и шахтеры с нами». Она же меня и поцеловала в небритую грубую щеку, возвращая мне каску в которой позировала для фотографии, каску, которую надела не морща носик, что, мол, грязная и потная. Она же не вытерла и след моего темного от угольной пыли пальца, который оставил я на ее щеке, когда прикоснулся к ней, привлеченный белизной и неземным сиянием ее кожи. И она же махнула мне из открытого прицепа, куда поднялась в толпу таких же сияющих и гладких девушек и смешно стриженных парней. И махала до тех пор, пока улыбался я ей всеми оставшимися целыми зубами, говоря соседской, завидующей мне каске: «студентка, бля, как пахнет...». Мы едва согласились войти в автобусы, которые, чистые и блестящие, ожидали нас, чтобы перевезти в Белград: мы отказывались, мы хотели

войти в столицу маршем, хотели купаться в слезах умиления, в женских ароматах, поскольку, когда шагают рабочие, то все должны уважать нас. Мы – гордость Сербии!

Никто и не подумал оставаться в автобусах, с мягкими новыми креслами, которые мы, сами того не желая, испачкали своими рабочими комбинезонами, впрочем, это никого не волновало, никто не возмущался тем, что мы грязные, что мы шумные. Все нас любили, и эта любовь сводила нас с ума. Очумевшие от любви, мы все едва дождались приказа оставить мягкие автобусные кресла и двинуться к Парламенту. – Где он?! – шумели мы и молодые предводители, которые всегда все умели объяснить, показали нам здание: – Во-о-от он, с двумя вздыбленными лошадьми по сторонам! – а мы сказали: – Ага, значит! – и пошли. И шагали под нашим черно-зеленым шахтерским флагом, где скрестились два позолоченных молоточка, совершенно неуместных в какой-либо шахте, где смешно выглядит любая позолота. И пришли к зданию Парламента, и люди расступались, пропуская нас, улыбаясь и целуя, люди приветствовали нас, радостно хлопая по плечам, даря нам такое непривычное внимание, что мы вспоминали давно забытые первомайские парады и ушедшие в прошлое праздники в День шахтера, когда нас почти также торжественно, но конечно не так горячо и искренно, приветствовали и поздравляли. Правда в то время нами управляла полиция, выстраивая нас в ровные колонны и мы, тихие и торжественные, в новых парадных шахтерских комбинезонах, украшенных значками, внимали речам товарищей из министерств, маясь в ожидании вручения грамот, переходных знамен и юбилейных вымпелов, после которых следовал торжественный обед и можно было наконец-то выпить, отдыхая и наслаждаясь торжественным концертом. А сейчас мы были грязными, усталыми и небритыми, за нами влачилась шлейф резкого запаха: запаха давно немых тел, сбитых нуждой в тесных холодных помещениях, тел, пропахших запахом дешевых сигарет, тел, потных от криков, которыми мы убеждали себя в правоте цели, которую не совсем понимали, но отмахивались от любых сомнений. И только тогда, в центре всего этого человеческого водоворота, глядя в находящиеся рядом известные и знакомые лица, мы, сдерживая наши каски, несколько смущенные таким вниманием людей, увидели в той стороне, где не было ни нас, ни наших касок, ни нашего табака и нашего флага, ни наших позолоченных молоточков – дым. И мы поняли, что главное уже произошло, что это горит здание Парламента и что в него толпа, веселая и радостная, кидает сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы горящих бумажек. Я тогда подхватил одну, летящую мимо, и увидел, что это бюллетень для голосования и наконец-то понял, что мы пришли, чтобы наконец-то разрушить так долго прячущийся от нас коммунизм. Тысячи, сотни тысяч, миллионы листочков, целая раса, созданная специально для голосования, горели на площади и мы, окруженные их бумажными телами, которые, сгорая, весело носились в воздухе, мы, наступая на протоколы голосования, скандировали: победа, победа! Мы смеясь считали горящие бюллетени и рвали бледные листы скучных бумаг: победа, победа! Полиции нигде не было видно, лишь какие-то куски их униформ, и молодые и веселые парни с лицами, замотанными в красно-белые шарфы болельщиков, несли отнятые бронежилетки и шлемы и скакали, ломая плексигласовые щиты. Вместе с толпой молодых и гневных ворвались мы в незащитные коридоры, потерявшие мощь и власть. Наступая на государственные листы с синяками государственных печатей мы рассматривали мрамор, узнавая в его блеске все те совещания и приемы, о которых нам вещало телевидение. Мы узнавали мрамор, по которым ходили президенты и генералы, министры и их послы, пьянея от самой мысли, что сейчас по нему идем мы – представители народного восстания, которому никто не в силах противиться.

Мы шли по мрамору, еще пока блестящему, и, всем сердцем выступая за демократию и капитализм, срывали со стен картины с темными и старыми полотнами, разбивали слишком чистые оконные стекла и широко распахивали солидные дубовые двери, выламывая медные названия политических партий, сияющие на их тяжелой поверхности. Мы не хотели, чтобы кто-то подумал, что нам не место в этом мятеже, в этом огне и дыму, и мы рвались дальше,

делая коридоры чумазыми и грязными, мы бежали, удивляясь высоте потолков и пестроте их росписи. Мы роняли статуи из ниш, глядя как разлетаются они на десятки осколков и пытались не думать, кого они изображают, старясь не встречаться глазами с их каменными слепыми зеницами. Мы их разбивали, чтобы не смотреть в их глаза и страх проходил, когда мы слышали тупой удар камня, разбивающегося о мраморный пол. Мы рушили палату власти, которая стремительно теряла все свое могущество. Но, руку на сердце, мы все же, нужно признаться, разрушали стыдливо, намного стеснительней тех коренных жителей Белграда, которые, по всей видимости, понимали в демократии больше, чем мы, поэтому разрушали оплот власти более опытно. Мы же, ломая дорогие вещи, немного смущались, да и вообще, мы что-либо ломали легко только в день зарплаты, когда напивались в кабаке, а певичка, подмигивая городским пижонам, отказывалась петь для нас.

Пробираясь через лабиринт мраморных пролетов, полных холодного октябрьского воздуха и горячего племени, неспешно и обстоятельно осваивающего метр за метром здание самого Парламента, столицу, и страну в которой мы находились, мы старались не отставать от молодых наших предводителей с мягкими ладошками, на которых были надеты футболки с тяжелыми кулаками. Мы доверчиво шли за ними и доламывали то, что они не могли, проникаясь их верой, что любое разрушение праведно и ведет добру. Мы шли и за другими людьми, нам неизвестными, нам чуждыми, но они тоже вели себя как предводители наши, командовали так, как будто имеют на это право, были уверены в себе и в том, что делают, а мы в тот момент готовы были идти за всеми, кто выглядел надежно и уверенно, поскольку нам казалось, что они знают то, чего не знаем мы. Из коридоров свергнутой власти уносили мы все, что могли унести – пепельницы и картины, стулья, слишком тяжелые, чтобы быть нам нужными, зеркала, телевизоры и музыкальные аппараты с которыми мы знали, что делать, но которые у нас из рук вырывали такие же как мы и мы не знали, как их сохранить до того времени, когда настанет час возвращаться из Белграда домой. А покинув уничтоженные и униженные бывшие властные коридоры, покинув Парламент, который горел и шипел от нашего гнева, мы увидели, как экскаватор берет на бордаж стекло здания, которое, как мы предположили, было телевизионным центром. Звон стекла, скрежет металла и два-три выстрела лишь заставили нас на несколько мгновений прижаться к земле, но потом мы, уже знающие что делать, когда здание оседает от осколков и корчится в дыму, а огонь зовет и ведет, ринулись, чтобы обглодать его до скелета. Нет, мы не были первыми. Первыми вошли другие, те, которые догадались войти через искалеченное в бомбежку американскими бомбами другое крыло здания. Большое стеклянное здание горело сейчас почти также как горело оно в ту ночь, когда было целью для бомб НАТО. Я, которого толпа внесла в здание, толкая и сминая, я, весь в царапинах и крови, пробираясь через стекло сломленных дверей, вдруг вспомнил ту ночь, когда сообщили о бомбежке, вспомнил свой гнев и свою беспомощность, вспомнил свою жалость. Но сейчас жалости не было, я осваивал Бастилию, как красиво сказал бородатый прокламатор, ведущий нас на штурм. И я повторял его слова, хотя совсем не представлял себе, что такое Бастилия, но верил, что это большое зло, поскольку добро никто не берет штурмом. И пока мы бежали и скандировали: ему конец, ему конец! – я видел тех, кто остался внизу, у дверей, тех, которые поймали – двоих в костюмах с галстуками, и видел, как били их, били ногами, били металлическими палками, выломанными из перил. Я слышал крики – поймали директора! и видел как его забивают как зверя. И забили бы, если бы не шустрые вездесущие молодые предводители наши, которые, исчезнув в нужный момент, в нужный же момент и появились: они остановили им покорную толпу и унесли под руки директора, унесли как сломленную куклу без души, сил и воли. И мне было жаль. Нет, вру, а глупо врать, когда поток может каждую минуту ударить в стену и смять нас на этом более-менее сухом островке земли, которое мы случайно нашли и где вода всего лишь нам до колена. Нет, не буду врать, может эти мои воспоминания – это последнее, о чем я думаю, а умирать, обманывая самого себя ложными воспоминаниями, совсем уж

последнее дело. Нет, мне не было его жаль, не было жаль той куклы в белой рубашке. Я лишь радовался тому, что я не на его месте, что не меня бьют, что не в меня плюют и не меня унижают. Я радовался тому, что я не на стороне, которых бьют, а на правой стороне, на стороне сильных, на стороне тех, которые бьют. И жаль мне не было. Нет, было, но не тогда, а намного позже. Вот так мы победили, крича, что ему конец, но успокаиваться мы не хотели, хотели продолжения этого дня, хотели продолжения пира, хотели, пьяные от дыма и огня, показать, что когда нас разозлить, то мы весь мир заставим подчиняться нам, поскольку наша ярость необуздана и в своей необузданности праведна. Мы были уверены, что имеем право и что все в этом мире делается для нас и вертится вокруг нас. Нам вскружила голову победа и ярость, и мы пошли крушить все на своем пути. Нам хотелось еще больше победы, больше огня, больше дыма. Особенно когда мы увидели, что особые единицы полиции, оставляя свои бронированные автомобили и снимая балаклавы с лиц, подходили к нам, целуя нас и скандируя с нами наш девиз – ему конец, ему конец!.. И крупный квадратный командир в кровавом берете на голове и такого же цвета розой на груди приветствовал молодых наших предводителей, временно лишившихся сережек, но оставивших уверенность в том, что они все знают и которые все резче, все агрессивней призывали встать плечом плечу под их знамена. Мы много пили в тот день и спиртное текло рекой, появлялось откуда-то само по себе: никто не платил, никто не сказал – довольно или – больше нет, никто не говорил о том, что пьянству – бой, никто не глядел укоризненно. Молодые предводители с мягкими ладошками и быстрыми стеклянными глазами всегда были веселыми, их зрачки всегда ярко блестели и рядом с ними появлялось желание скакать, бежать, кричать, но только не молчать, только не задумываться в покое. Они нам приносили и ракию, и табак, и мы принимали их дары как должное, требуя еще и еще. Рабочий класс – всегда прав! – я помню, как первый раз сказал эту фразу – уверенно и ясно. И наши каски, которые сразу были видны в толпе возбужденных людей, весело и с песней разрушающих все на пути своем, наши каски, разгоняли фонариками пар, возникающий из ртов наших, когда мы в возбуждении повторяли – кончено! кончено! Да, мы хотели еще ракии, дыма, табака, победы и огня, хотели продолжения и, поддерживая остальных, кричали – идем на Дедине! Идем на Дедине! – хотя и косились на предводителей наших, потому что не знали где находится это самое Дедине. Но когда пошли они, то и мы двинулись вслед за ними: огромная толпа, текущая бурлящим бульваром. Мы пошли на Дедине, пошли разрушать виллы тех, которые до недавнего времени думали, что они управляют этой страной. Пошли, оставив за собой огонь, бумажные трупы сгоревших бюллетеней, острый частокол разбитых окон, грязные и рваные тряпки флагов. Впереди нас реяли флаги партий, о которых мы мало что знали, но верили, что они на нашей стороне, поскольку так говорили нам их представители, когда появились у нас на шахте. Они нас учили произносить имена их лидеров и нужные слова, и мы, тщательно исправляя первоначальные огрехи свои, повторяли и повторяли, учась, потому что верили, что эти слова и эти люди – важные и добрые. Нас сейчас не удивляло, что этих важных и добрых людей сопровождали какие-то лысые парни у которых не было имен, а лишь клички и чьи руки умело и привычно несли бейсбольные биты, пистолеты и ножи. Нам не мешало, что эти люди со свистящими и тревожными кличками защищают важных и добрых вождей наших. Нас переполняло восторженное чувство единения и к концу того октябрьского веселого осеннего дня мы были уверены, что всегда будем вместе, что все грехи отпущены, потому что грехи наши были частью того режима, который назывался коммунизм, что все очищено огнем, через который мы вот только что сейчас прошли, все пороки наши лишь отражение прошлого, которое уничтожено как оконные стекла и перед нами больше ни сомнений, ни преград. Мы шагали за вождями и предводителями, за безымянными фигурами с тревожными кличками, которые несли, почти не скрывая, новенькие, еще в смазке автоматы и говорили, что они их добыли в честной борьбе, разоружив полицию. Мы шагали в колонне, которая несла телевизоры и стулья, лампы и тяжелые фигурные рамы картин, часто без самих полотен.

Мы шагали в толпе, которая волокла бессмысленно тяжелые книги с позолоченными буквами, никому не нужные письменные машинки, громоздкие хрустальные люстры и пузатые керамические вазы, какие-то туалетные зеркала, какую-то посуду. Мы шагали в толпе, которая несла пакеты чуть начатого, но почти не тронутого стирального порошка, бутылки средств для мытья посуды, мыло и полироль. Мы шагали в толпе, вооруженной метлами, вешалками, мусорными корзинами, щетками для чистки туалетов. Мы шагали в толпе, за которой тянулись шнуры от компьютерных клавиатур и мониторов. В толпе которая несла сканеры, принтеры и замазанные известкой выдернутые откуда-то шнуры. Мы шагали в толпе, которая сжимала в горсти карандаши, календари, зажигалки, папки и конверты с государственными печатями, а также значки, свечи и пачки чистой бумаги. Мы шагали в толпе, над которой реяли занавески, скатерти и полотенца. Мы шагали – и вдруг толпа остановилась. Нет, никто не дал приказа – стой! но предводителей наших, тех, которые вели нас на Дедине, остановили люди серьезные, взрослые, и предводители наши, разводя в недоумении своими мягкими ладошками стали что-то им объяснять, а потом, повернувшись, сказали нам, что в Дедине не к спеху, подождет, мол, а нас ждут в парке. Некоторые из нас, слепые от угара этой ночи, от табачного дыма и доступного алкоголя настаивали: – Де! ди! не! и тем самым раздражали, вмешивались в отлаженное описание бунта. Но к ним откуда-то из мрака подошли серьезные парни в спортивных костюмах и тихо увели с собой, уволокли во тьму. Мы же праздновали победу и верили, что праздник никогда не закончится. Мы были убеждены, что нам не надоеет выкрикивать лозунги и имена наших мягкорукых предводителей, мы были уверены, что не забудем их имена, и мы наслаждались, когда проходили мимо их, а они нам возвращали приветствие, подняв высоко стиснутый кулак в революционном жесте. Они, у ног которых плескался вал нашего восторга, свидетельствовали нам всем своим присутствием, что настало новое время, время народного правительства, того, которое мы, наконец-то! заслужили. Мы были уверены, что эта ночь, эта октябрьская ночь, эта ночь победителей будет длиться вечно и мы – освободители этого города. Мы были уверены, что мы сейчас – его законные хозяева. Победа была здесь, была реальна, была дана нам во ощущениях: ее можно было есть, ею упиваться, ее глотать. Она обнимала нас, мы дышали ею, она проникала в наши поры. Долго, еще долго оставались бы мы у места, где следовало махать вождям, хотя мы уже не видели их лиц, уже их не узнавали, но жар начал остывать и мы, уставшие от победы, дыма, алкоголя стали выблевывать из себя этот день, день, который выпил нас до конца. Изнуренные от упавшей на нас свежей прохладной ночи, уставшие от крика и хаоса передвижений, мы засыпали на скамейках парка, прикрываясь темно-зелеными шахтерскими жилетами, чей искусственный мех не согревал, а проснулись от утренней росы и какой-то искусственной неземной тишины пустого парка. Вчерашние горелые листья протоколов, бюллетеней, прокламаций ровно покрывали землю, нас, наших полусонных товарищей, которые, сизые от утреннего холода и короткого сна изредка бормотали, полусонные, вчерашние лозунги – ему конец и идем на Дедине. Окончательно проснувшись мы, желая продолжения вчерашнего дня, желая убедить себя в том, что ничуть не устали и еще в состоянии опять идти, опять жечь, опять побеждать, пытались повторить вчерашнюю спасительную формулу: ему конец! – пробовали скандировать, старательно имитируя вчерашний жар, но голоса наши срывались, лозунг звучал неубедительно и не производил никакого эффекта. Внимание мы уже не привлекали, разве что изредка к нам подходили люди, привлеченные нашим трофеем и предлагали нам какие-то смешные деньги за них. И мы, устав носить эту тяжесть, эти чугунного веса телевизоры со столами-стульями, слишком массивными для наших малогабаритных квартир, продавали вчерашнюю добычу за какой-то денежный мусор, дарили, оставляли в парке. Особенно нам жаль было черных телевизоров, довольно маленьких, чтобы поместиться в наши квартиры, но наши утренние покупатели рассказали нам, что это не телевизоры, а мониторы для режиссуры и монтажа. Их мы, подогреваемые насмешками столичных знатоков, разбивали эти телевизоры об асфальт, злясь на себя за то, что тащили их за собой, оберегая от толпы.

А потом мы, возвращаясь той же дорогой, которой пришли как победители, тщетно пытаюсь увидеть подобие вчерашних восхищенных взглядов студенток, восторженных слез женщин и братских улыбок мужчин, приветствующих нас. Без всего этого мы чувствовали себя одиноко и потерянно, а резкий звук шахтерских тяжелых башмаков не принадлежал уже чужому и успокоившемуся городу. Мы удивлялись куда делись наши молодые предводители, которые привели нас сюда, а потом поднялись на обшарпанный сменой власти балкон правительственного здания, помахали нам и исчезли. Как выяснилось, навсегда. Редкие прохожие на улицах освобожденной нами столицы глядели на нас как-то странно: немного презрительно, немного свысока и одновременно с опаской. Да, в то утро, когда город чистил себя от пепла и вчерашнего крика, мы чувствовали здесь себя лишними. Своими мы были разве лишь для нашего круга таких же потерянных и одиноких и еще для немногочисленных пьяниц, у которых вчерашний день еще продолжался и которые нас приветствовали потерявшими свежесть лозунгами.

И случайно проходящая мимо девушка с чистыми волосами, почти такая же, которая нас вчера целовала, поглядев на нас со страхом и брезгливостью, шарахнулась и перебежала на другую сторону, как будто мы уже не были рабочими – победителями, борцами за свободу и демократию и носителями истины и справедливости, а были теми что и есть – бедолагами, в чью кожу вьелся запах угля, пота, дешевого бренди и бедности. А позже, собравшись у административного здания нашего шахтерского управления, мы, еще похмельные от пьяного дня победы, еще уверенные в том, что за нами правда, легко вышвырнули из кабинета этого старого лиса – тайного коммуниста директора и его криптокоммунистическую команду, крича им что-то крайне оскорбительное, когда они бледные, нервно не попадая в рукава своих пальто, испачканных нашей слюной, проходили сквозь строй, матерящий и их, воров, и матерей, их родивших. А потом, взяв бразды правления, удовлетворенные тем, что обещания выполняются и в капитализме, созданном нашими руками, мы – власть, мы отделили козлиц от агнцев, выделив из рядов наших тех товарищей, которым не место среди нас, которые не шагали с нами плечо к плечу, которые не разбивали мраморные коридоры власти в доказательство того, что они за демократию, а не презренные коммунары. С них мы спросили строго, по-рабочему, не позволяя смягчать нас воспоминаниями о совместном прошлом, полном угольной пыли. Им мы говорили все те верные слова, которые говорили нам наши вчерашние вожди с узнаваемыми протестными футболками. Им мы говорили о предательстве, о попустительстве преступному режиму, о пораженцах и ренегатах. И наши бывшие товарищи склоняли головы перед нами, победителями, и дышали часто и тяжело, не находя в себе слов, которые могли бы оправдать измену.

А потом, когда мы освободили их всех, когда освободили и столицу, и всю страну, то штаб, тот кризисный штаб, который мы сами создали, отдал нам приказ – возвращаться домой, к женам, к шахтам, к вагонеткам. Возвращаться, поскольку мы победили, и шахта теперь – наша. Мы, правда, хотели еще чуть праздника, но нам объяснили, что нет праздника без электричества, а электричества не будет без угля. Также нам объяснили, что демократия нуждается в электричестве, а без рабочего нет и капитализма.

И мы вернулись на шахту, на нашу шахту, в которой мы теперь были хозяева. Правда вместе с нами хозяйничали на шахте и некоторые личности, которых мы считали ворами и тунеядцами и причисляли к тем бывшим общественным язвам, от которых необходимо было избавиться. Мы думали, что революция вылечила нас от этой заразы. Но люди эти не выглядели ни как бывшие, ни как побежденные, а надували солидно щеки и вообще вели себя так самоуверенно, что чувствовалось – они в полной безопасности.

А с ними рядом, еще уверенней и еще солидней чем раньше, вышагивали наши недавние молодые вожди, те, с кем мы буквально вчера братались на белградских улицах, на столичных баррикадах. Те, которые вместе с нами рушили власть, разбивая ее коридоры и сжигая то, что они называли лживыми выборами. Те, чьи имена назывались редко и почти всегда

шепотом, который был особенно четко слышен в реве выкрикиваемых лозунгов, когда стояли они под светом рефлекторов, умело позируя перед голодными зрачками фотоаппаратов и черными объективами ждущих их камер. Тогда они, неподкупные и честные, говорили нам о солидарности и о том, что – режиму конец! А сейчас они, наши октябрьские побратимы, нас не узнавали, а когда мы им напоминали их слова о солидарности и о том, что мы соратники, когда мы перечисляли им наши трофеи и говорили о воспоминаниях, острых как осколочная крошка разбитых окон и стеклянных дверей телевизионной станции, когда мы напоминали им о нашем совместном пьянстве у разбитых статуй, они улыбались, но как-то с усилием, удивляясь, что мы все же имели храбрость подойти к ним, и что нас не остановили ни телохранители, которыми они окружили себя, ни новые солидные должности, полученные ими за революционные их заслуги. Они не отворачивались от нас, пожимая нам руки, хотя делали они это не так радушно, как раньше, с намного меньшим энтузиазмом.

Многие мои товарищи были уверены, что это совсем другие люди, хотя бы потому, что приехали они в роскошных автомобилях и в обществе тех самых сомнительных сумеречных людей, которые и ездят в таких автомобилях, прячась за их темными стеклами. Но я-то видел, что это старые наши побратимы, лишь сменившие футболки на дорогие костюмы. Я-то был уверен, потому что руки их и далее были нежными, женскими с мягкими податливыми ладошками, а руки никогда не лгут, они правдивее и честных взглядов, и искренних слов.

И тогда они, наши вчерашние побратимы, сказали нам, что шахта сейчас их имущество, что они купили ее честно заработанным капиталом и что мы должны забыть такие слова как самоуправление и солидарность, что это реликты прошлого – ненужные и вредные. И хотя я был удивлен и растерян, но нашел в себе силы и ответил товарищу своему, такому же растерянному, вопрошающему меня, мод что все это значит. Ответил, как думал, что, мол, слова эти ныне запрещены просто потому, что теперь все должно быть иначе, весь мир после того как горел Парламент стал иным и вспоминать прошлые слова нет причины, да и не стоит. И мой товарищ, хоть ему и далее многое было непонятно, успокоился, приняв мои слова за веру. А мы слушали дальше. Слушали, что наше время прошло и нам на смену идут способные, честные, трудолюбивые, не такие как мы, паразиты. И мы спрашивали себя, а действительно ли мы такие уж паразиты? Спрашивали себя на собрании, спрашивали в столовой, когда пришло время обеда, спрашивали растеряно, спрашивали, потому что не были уверены, что все правильно поняли, и, что, мод шахта теперь не наша, поскольку мы не очень способные? Спрашивали и когда выяснилось, что нет бесплатного молока и нет дешевых талонов на еду, а если не хотим платить полную цену, то нас, паразитов, даром кормить никто не собирается, но можно приносить с собой свою еду, свои бутерброды, поскольку талоны на питание – тоже реликт прошлого: опять это строгое пугающее слово. Мы, глотнув в тесном кругу товарищей домашней ракии, которую и сегодня как всегда умело пронесли через проходную, спрашивали друг друга о значении этого слова, и о значении других, также непонятных нам слов, ну, например, что это такое – рыночная экономика?

Мы что уже не шахтеры, а торгаши, мы должны теперь только торговать, а не уголь добывать в нашей честной капиталистической шахте? Но ответа не было. Владельцы честно заработанного капитала принялись за дело и стали реформировать шахту, которая перестала быть нашей. Сначала часть товарищей получили увольнения. Мы же, привыкшие к стачкам, хотели и сейчас встать на их защиту, хотели призвать к ответу начальство, которое заставляет нас, оставшихся, работать в две смены, хотели бастовать, протестуя против уменьшения зарплат, но быстро прикусили языки, поняв, что тех, кто будет возмущаться, также ждет увольнение.

Наши новые управляющие нам ясно дали понять, что нас легко заменить, что идут реформы, а мы им противимся, мы мешаем переменам. И мы крепко стиснули губы, вспомнив, что ртом не только произносятся речи, но им еще и едят. А чтобы есть, нужно работать. И чтобы воспитывать детей – также нужно работать. И мы давили в себе рождающиеся слова,

когда читали, сбившись под дождем, имена на списках увольнений, которые вывешивались на воротах. Давили, потому что не было нам дано такого счастья – выучить детей бесплатно во время ужасного коммунизма и сейчас, в нынешнем капитализме, спокойно жить и радоваться в ожидании заработной пенсии и говорить все, что хотим. Мы, не смея глядеть в глаза нашим товарищам, чьи имена нашлись в списках, стояли, бессильные и покорные, а они, такие же как мы, продрогшие от дождя, пытались поймать наш взгляд, пытались ухватиться за него как за спасение, надеясь, что вот сейчас все выяснится и все скажут, что это была глупая и мелкая ошибка, рассмеются и все вернется на круги своя и даже дождь прекратится. Молчали и не поднимали глаз мы и тогда, когда кто-то из рабочих, чье имя было в списках, выругался в голос, глядя на новых хозяев плахты, а профсоюзный активист, тот, кто стоял рядом с обновленным руководством, которых нужно было называть теперь менеджмент, вернул ему еще более сочным матом. И мы молчали. А что мы могли делать? Могли только молчать и прятать глаза, и опускать голову как можно ниже. Что мы, кроты, всю жизнь копающиеся в земле могли сделать?

– Ничего не могли, ничего – говорил я себе, когда, прячась от дождя и взглядов товарищей, глядел на друзей наших, уходящих от нас, бормочущих что-то про себя в раздражении и недоумении. Я, изучая многочисленные рельефные следы, которые на грязной земле оставляли резиновые сапоги уходящих, искал в себе того победителя со столичных улиц, искал – и не находил. Горло свело изжогой, может от усилия и обиды, а может и потому, что я не обедал сегодня как следует, а столовая давно стояла холодная и пустая, и вспомнился вдруг вкус молока, того из пакетов с нарисованной веселой коровой, которое получали мы до того, как шахта стала наша.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.